

следует первичная кодификация подобных смысловых радикалов, чаще всего без их функционального соотнесения, системной теоретической проработки, методологического анализа, и их неконтролируемая реификация.

Чаще всего, например, именно так происходит с ключевым в данном случае понятием "культура", которое используется исключительно в натурализованном, предметном смысле, как "вещь" или "практика", — отсюда коллекционирование "практик" и "вещей" в нынешних мультикультуральных исследованиях. Поэтому независимо от признания, казалось бы, множественности культур все они трактуются в таких случаях их исследователями по единой и замкнутой модели, характерной для традиционных либо сословных обществ или для канонической модели "классической", точнее, классицистской культуры. Собственно, факт их взаимной непроницаемости и фиксируется в предикате "мульти-". Говоря совсем коротко, перед нами здесь — еще один, совсем уже поздний вариант романтической концепции культурного циклизма, последовательно воспроизводимый раньше ретроромантиками (Н.Данилевский, О.Шпенглер, Л.Гумилев). Добавлю, что фактически из той же изоляционистской картины исходит в своей концепции С.Хантингтон, только он чисто идеологически и волюнтаристски наделяет подобные "сущности" еще и агрессивным импульсом к "столкновению"*.

Вообще сама подобная презумпция "культуры" (искусства, традиции и т.д.) как целого указывает социологу знания, что он имеет здесь дело с идеологическими проекциями, продуктами идеологического производства вполне определенных групп либо с "бессознательным" воспроизводством их позиций в исследовательской работе. Производство подобных целостностей — видовой признак идеологии. Тем самым, аттестуя себя как постмодерные, подобные подходы фактически возвращаются к самому порогу модерности — романтизму, а через его внутренне полемический образ мира неконтролируемым порядком переносят на культуру нормативные кодификации XVIII-XVIII вв., т.е. именно то, чему романтики пытались противостоять. Вводимые или используемые при этом оценочные конструкции по логике идеологических образований превращаются в самостоятельные сущности и силы, наделенные сознанием, волей, способностью себя "вести", "желать" и т.п. Но ведь и техники исследовательской работы с материалом при этом тоже, как правило, достаточно упрощены. Все более многочисленные в последние годы, в том числе на российской почве, *cultural studies*, *multicultural studies*, *postcolonial studies* и т.д. выступают своего рода микрорентнографией современности. Однако чаще всего это этнография по образцу Э.Тейлора, а не В.Тернера или К.Гирца. Специальный историко-социологический анализ процесса "глобализации" самой тематики глобализации в общественных науках и околонаучной среде, в риторике публичных интеллектуалов, средствах массовой коммуникации 1990-х годов мог бы показать эти моменты на богатейшем эмпирическом материале.

* См. резонные возражения и соображения на этот счет В.Вельша: *Welsch W. Transculturality — the Puzzling Form of Cultures Today // Spaces of Culture: City, Nation, World / Ed M. Featherstone, S. Lash. L., 1999. P. 194-213.* Идея "транскulturности" Вельша не теория культуры (таковая, понятно, невозможна, поскольку культура не обладает качествами системы), а указание на конститутивный для европейского понимания человека и культуры смыслотворческий импульс постоянного выхода за пределы готового, традиционно установленного или нормативно устоявшегося. В принципе похожую эвристическую роль в исследованиях культуры могли бы играть представления немецкой философской антропологии о "недостаточности" или "эксцентричности" человека (А.Гелен, Г.Плеснер) или введенное Ж.Батаем и развитое потом М.Фуко, М.Маффезоли и другими понятие "трангрессии".

При этом нормативные планы действия, наиболее усвоенные и ставшие рутинными в повседневной жизни людей, подвергаются в обиходе исследователей одной школы либо парадигмы рефлексивному дистанцированию, введению в рамку и демонстрации (но и только!) — это дает начало, например, таким способам интеллектуальной работы, как теории философской "деконструкции", литературоведческие концепции "текста в тексте" или практика этно-методологической социологии повседневности (так называемый *garfinkeling*). Напротив, для других исследователей они могут наделяться высокой символической значимостью, подвергаться в их сознании вторичной символизации и далее переноситься на изучаемых ими представителей других культур, теперь уже выступая в качестве ядерных моментов коллективной идентификации исследуемых, — так работает сегодняшняя культурная антропология современных обществ, дотошно кодифицирующая кулинарные, сексуальные или косметические практики различных микрогрупп. В роли подобных символов, вообще говоря, могут оказаться и наиболее инструментализированные планы и техники действия, если им придана повышенная значимость в качестве символов современности, и они становятся объектами желания, статусного присвоения, ритуалов демонстрации (практика, известная антропологам как *cargo cult*).

Обращает на себя внимание, что смысловую структуру социального взаимодействия в сознании и практической работе исследователей глобализации/локализации представляют, условно говоря, более "простые", "понятные" и "наглядные" типы действий: рутинно-традиционные либо технически-инструментальные, причем вне стоящих за ними или надстроенных над ними многомерных смысловых структур. Собственно, ценностные, смыслотворческие, инновационные аспекты поведения, как и сложные, многоплановые системы смыслового действия вообще, при этом чаще всего вообще не попадают в круг внимания философов и аналитиков глобализации, мультикультурности и пр. А это означает, что исследователи, при всех своих, порой крайне рафинированных техниках описания и кодификации материала, имеют дело по большей части с адаптивными формами поведения, либо не замечая, либо вытесняя из своего сознания, либо не имея средств видеть и объяснить другие, более сложные по конструкции и смыслу, разновидности индивидуальных и коллективных действий.

Юрий ЛЕВАДА

В какие игры играют толпы

Социологические заметки на актуальную тему

По поводу невероятного "футбольного погрома" в центре Москвы 9 июня 2002 г. сказано уже много правильного и печального. Представляется, что подобные явления нуждаются также в профессиональном социологическом комментарии. Кажется важным прежде всего понять, как люди, группы становятся толпой, что ими движет. (Иными словами, по каким правилам "играют" толпы.)

В какой-то мере все толпы похожи друг на друга, но толпа толпе рознь. Небольшая и громадная (десятки или тысячи участников), безумно веселая или безумно злобная, с разными устремлениями. Но обязательно возбужденная каким-то общим порывом — восторгом, страхом, злобой — причем порывом, который не контролируется никаким расчетом и разумом, индивидуальным или "массовым", если можно использовать этот когда-то модный термин. Согласно точной формуле Э.Соловьева, толпа "единым умом глупа". Умственные способности, IQ отдельных растворенных в толпе человеческих особей не

обязательно ниже среднего, но они просто не имеют значения в такой ситуации, становятся неразличимыми как лица в толпе. И что особо важно для социологического анализа феномена "безумие" толпы всегда социально, поскольку означает демонстративную ломку социальных, культурных, нравственных норм, даже священных табу. Когда это происходит, группы мирно гуляющих людей, терпеливая очередь, болельщики на стадионе или публика в кинотеатре могут превратиться в обезумевшую толпу, которая ломает ограждения, громит все вокруг, готова расправиться с кем угодно, способна в ярости или панике растоптать и "своих".

В поведении толпы огромную роль играет подражание, более того, взаимное возбуждение, как бы взаимоиндукция. Но нет взаимовнимания, взаимопомощи. "Коллективно" злобная или испуганная толпа состоит из одиноких и потерявшихся людей. Обычно в толпе нет своих вожakov, организаторов (организованная группа — это уже не толпа), бывают лишь инициаторы — те, кто первый закричал, побежал, ударил и т.п. Дальше действует подражание ("делай, как все!"). Когда буйствовавших в Москве фанатов спрашивали, зачем они били стекла и поджигали машины, получали именно такие однообразные ответы: "просто поступал, как все..."

Действия людей в толпе часто можно передать в терминах "игры" (если иметь в виду, что игровое поведение бывает чудовищно жестоким). Подростки "играют" во взрослых, которые все могут, взрослые — в недорослей, которым "все позволено". Вектор настроения толпы легко изменяется на противоположный: веселая толпа становится злой, агрессивная — испуганной. Полицейская практика разных стран показывает, что при достаточных силах толпу можно напугать и разогнать. Но вот найти виноватых чаще всего не удается: зачинщиками объявляют первых попавшихся, для протокола. (Похоже, что и московский инцидент завершится тем же.)

Но все эти соображения общего порядка, применимые к разным толпам, стоит напомнить в данном случае для того, чтобы подойти к характеристике тех настроений, тех образцов поведения, которые проявились в нашей ситуации 9 июня (и подобных ей), а также тех социальных обстоятельств, той атмосферы, в которых эти образцы формируются. Ведь никакая толпа не способна выдумать "правила", "язык", "цели" своих действий, она берет их из "воздуха", т.е. из наличной общественной атмосферы.

Оставим без внимания такой наиболее "стихийный", наименее зависящий от социальных факторов вид поведения толпы, как *паника*, которая часто сопутствует катастрофам и прочим случайным бедствиям (недавний пример — трагическая давка в переходе минского метро). Социологический аспект происходящего в таких случаях — ситуативная деградация группового поведения до уровня "спасайся, кто может и как может".

А вот *погромы* — будь то этнические (скажем, против "кавказцев" и прочих "чужаков" на рынках и на улицах российских городов, осквернения синагог и надмогильных памятников и т.п.) или те же, условно говоря, "футбольные" — явления сугубо *социогенные*, их к низменным страстям толпы не сведешь.

Участниками погромных акций, избиений и оскорблений в адрес "чужаков" чаще всего сейчас оказываются небольшие, как будто не связанные друг с другом группы или просто одиночки, одержимые ксенофобиями. (Панические ожидания организованных выступлений поклонников гитлеризма в минувшем апреле, как известно, не оправдались.) Но общую почву различные выходы современного "ксенобесия", по-моему, имеют, и искать ее следует в некоторых особенностях сегодняшней *общественной атмосферы*. Именно там живет сейчас явная и скры-

тая массовая подозрительность в адрес "чужих", которая время от времени переходит в погромные действия, нередко и кровавые. Важно, что совершаются они не только при безразличии, но и при одобрении заметной части населения, и при молчаливом попустительстве властей всех уровней, не умеющих и не желающих видеть ни виновников, ни почвы для погромных выходов. В такой атмосфере осенью 2001 г. почти половина опрошенных нашли оправдания для кровавых погромов на рынках Москвы. А более половины (58%) полностью или с оговорками поддержали лозунг "Россия — для русских!"

В такой атмосфере "околофутбольные" страсти рождают обезумевшую толпу, которая обращает в бегство стражей порядка и громит центр столицы. Просто потому, что "наших бьют". Омерзительный и опасный прецедент нуждается в серьезных объяснениях. Мне кажется, здесь сошлись два фактора.

Во-первых, доведенный до массового безумия околоспортивный фанатизм — явление известное во многих странах (в том числе, и даже в особенности, на родине футбола... и современной цивилизации). Это не спорт, не футбол, это совсем иная игра, имеющая свои цели и формы ("зрительский спорт"). У нас, как известно, страна футбольная, в том смысле, что зрительские страсти (на стадионе, на площади, перед телевизором) разыгрываются прежде всего "по поводу" этой игры. Согласно одному из опросов (август 2001 г.), 29% населения России смотрит по ТВ футбол, 20% — фигурное катание, 17% — хоккей. (Для сравнения: в США футбол европейского вида, "соккер", увлекает только 2% телезрителей*.)

Но что интересует в спортивных стычках "зрительскую" массу? Вот весьма любопытные данные, полученные в разгар зимних олимпийских страстей 2002 г. Оказывается, для 75% населения России важнее всего "победы российских спортсменов", и лишь для 14% — "удовольствие от выступлений ведущих спортсменов мира". Возрастные различия между группами при этом не слишком значимы, но чем моложе опрошенные, тем важнее для них только "победа". Итак, успех "своих", причем достигнутый любой ценой, даже с допингом и с пристрастным судейством, — вот что нужно массовому отечественному "фану", что отличает его от "простого" любителя спорта. Иначе говоря, движет его в наших условиях не спортивный интерес, а околоспортивный "патриотизм".

Теперь можно приглядеться и ко второму фактору, который содействует превращению околоспортивных страстей в погромные акции — это характер государственного да и общественного интереса к таким страстям. Точнее даже, способ использования таковых. В феврале 2002 г., в скандальные недели зимних Олимпийских игр, объединенные усилия "самых независимых" СМИ, всех без исключения ветвей власти и примкнувшего к ней патриархата, стремившихся превратить "игры" вокруг спорта, судейства, допингов и пр. в повод для общенациональной истерики (возможно, потребовавшейся для совсем иных целей, например, для изменения внешнеполитического курса), вызвали в общественном мнении весьма благоприятный отклик. За считанные дни проамериканские симпатии, вспыхнувшие после 11 сентября 2002 г., уступили место закаленной в горниле "холодных" и "горячих" войн схеме "они против нас" — "мы против них". Уступили, потому что готовность следовать привычной модели сохранялась в глубинах души народной (и в стратегических запасах государственных ведомств) даже в моменты демократических иллюзий. И готовность превращать спортивные коллизии (как впрочем, и научные, литературные, музыкальные и пр.) в

* The Gallup Poll. 2001. March. <Pollingport.com.>

конфликты государственного и политического уровня. Не стоит ли вспомнить, в какие годы, задолго до ТВ и политтехнологий, внедрялись в массовое сознание установки вроде "Эй, вратарь, готовься к бою!"

Дело в том, что противопоставление "наших" и "ненаших" всегда служило опорой самого примитивного, самого низкого, а потому и самого устойчивого уровня всякого патриотизма, от уличного или клубного до государственного, того, который именуется "военным" или "воинственным", который оправдывается тем, что "чужое" всегда хуже "нашего". Как показывает опыт, власти хватаются за это оружие, когда не знают других средств сплочения народа, когда нет ни достижений, ни даже иллюзий, ни целей, ни идей. В таких сумерках и спортивные страсти годятся для патриотической мобилизации.

Впрочем, есть основания судить о том, что мы — как страна, как народ и его общественное мнение — от примитивных моделей жизни и самоопределения несколько удалились, а если и увлекаемся ими, то не совсем всерьез и ненадолго. По данным опроса жителей крупных городов России в июне 2002 г. (N=1200 человек), 12% расценили выступление российских футболистов на чемпионате мира как "национальный позор, унижение России", 20% — как "досадную спортивную неудачу", 25% — как результат ошибок тренеров, 42% сочли, что "результат соответствует нынешнему уровню российского футбола", и только 7% склонны искать "сговор иностранных организаторов и судей против российской команды". Общественное мнение способно вполне здраво судить о многом, если его носители не превращены в толпу...

АВТОРЫ НОМЕРА:

Бондаренко Наталья Владимировна (ВЦИОМ)

Дубин Борис Владимирович (ВЦИОМ)

Заславская Татьяна Ивановна (МВШСЭН, ВЦИОМ)

Здравомыслов Андрей Григорьевич (Институт комплексных социальных исследований РАН)

Левада Юрий Александрович (ВЦИОМ)

Мендрас Мари (Центр международных сравнительных исследований, Париж)

Роуз Ричард (Центр исследований публичной политики при Университете Стрэнслайд, Глазго)